Научная статья /
Research Article

https://elibrary.ru/AFHIAK
УДК 82.0
ББК 83

СТРАХ ТАВТОЛОГИИ КАК ЭСТЕТИЧЕСКАЯ И НРАВСТВЕННАЯ КАТЕГОРИЯ

© 2022 г. А.Б. Ковельман
Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Дата поступления статьи: 23 декабря 2021 г.
Дата одобрения рецензентами: 23 марта 2022 г.
Дата публикации: 25 июня 2022 г.
https://doi.org/10.22455/2500-4247-2022-7-2-10-27

Аннотация: «Страх тавтологии» появляется в стихотворении И.А. Бродского «Примечания папоротника»: «Того, что грядет, не остановить дверным // замком. Но дурное не может произойти с дурным // человеком, и страх тавтологии — гарантия благополучья». Эти слова не что иное, как вывернутое наизнанку утверждение Сократа, что с хорошим человеком не может произойти ничего плохого. С точки зрения поэта, тавтология — растрата собственной жизни индивида на подражание чужому опыту и чужой внешности. В то время как политические и общественные системы тяготеют к тавтологии, литература помогает индивиду отличить себя от толпы, избежать судьбы «жертвы истории». Мысль И.А. Бродского близко соприкасается с идеями О.Э. Мандельштама и С.С. Аверинцева. С точки зрения С.С. Аверинцева, «глубокая боязнь тавтологии» у Мандельштама выражалась в его страхе перед религиозной и национальной идентичностью. Наконец, французский философ Клеман Россе назвал тавтологию «демоном идентичности» в смысле волшебства или магического круга. Развивая метафору Россе, можно сказать, что страх тавтологии — это стремление разорвать магический круг, расколдовать действительность, загнать демона идентичности в ловушку парадокса и иронии.

Ключевые слова: С.С. Аверинцев, И.А. Бродский, О.Э. Мандельштам, К. Россе, Л. Шестов.

Информация об авторе: Аркадий Бенционович Ковельман — доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой иудаики, Институт стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, ул. Моховая, д. 11, стр. 1, 125009 г. Москва, Россия. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7648-154X

E-mail: arkady.kovelman@gmail.com

Для цитирования: *Ковельман А.Б.* Страх тавтологии как эстетическая и нравственная категория // Studia Litterarum. 2022. Т. 7, № 2. С. 10–27. https://doi.org/10.22455/2500-4247-2022-7-2-10-27



Studia Litterarum,
vol. 7, no. 2, 2022

THE FEAR OF TAUTOLOGY AS ESTHETIC AND ETHIC CATEGORY

© 2022. Arkady B. Kovelman
Institute of Asian and African Studies
of Lomonosov Moscow State University
Moscow, Russia
Received: December 23, 2021
Approved after reviewing: March 23, 2022
Date of publication: June 25, 2022

Abstract: The notion of the "fear of tautology" marks Joseph Brodsky's poem "Notes of a Fern": "But evil cannot befall a bad human, and the fear of a tautology is a guarantee of prosperity." The poet thus inverts Socrates' assertion that no evil befalls a good person. In the eyes of Brodsky, this assertion represented the epiphany of tautology. His viewpoint was that tautology is squandering one's life trying to resemble and embrace the appearances and experiences of others. Whereas political and social systems gravitate towards tautology, literature helps one to differentiate himself from the crowd, avoid becoming a "victim of history." Brodsky's idea of tautology resonates with those of Mandelstam and Averintsev. Sergey Averinsev described Mandelstam's dread of confining himself within a religious or ethnic identity as a "profound fear of tautology." Finally, French philosopher Clément Rosset named tautology "the demon of identity" in the sense of it being sorcery and a magical circle. Advancing upon Rosset's metaphor, it could be said that the fear of tautology is the desire to break the magical circle and drive the demon of identity into the trap of paradox and irony.
Keywords: Averintsev, Brodsky, Mandelstam, Rosset, Shestov.
Information about the author: Arkady B. Kovelman, DSc in History, Professor, Head of the Department for Jewish Studies, Institute of Asian and African Studies of Lomonosov Moscow State University, Mokhovaya 11/1, 125009 Moscow, Russia. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7648-154X
E-mail: arkady.kovelman@gmail.com
For citation: Kovelman, A.B. "The Fear of Tautology as Esthetic and Ethic Category." *Studia Litterarum*, vol. 7, no. 2, 2022, pp. 10–27. (In Russ.) https://doi.org/10.22455/2500-4247-2022-7-2-10-27

...И гений, парадоксов друг
А.С. Пушкин. 1829

Конец стихотворения И.А. Бродского «Примечания папоротника» (1989) исключительно парадоксален: «Того, что грядет, не остановить дверным // замком. Но дурное не может произойти с дурным // человеком, и страх тавтологии — гарантия благополучья» [12, т. 2, с. 137]. Грядет смерть, ее не остановить, но «дурному человеку» (т. е. самому Иосифу Бродскому) нечего бояться — с ним не случится ничего дурного.

Парадоксы, как известно, не существуют сами по себе. За каждым из них мерцает некое «мнение» (*докса*), против которого они направлены. Не найдя «мнение», мы не можем понять суть парадокса, его смысл. Если речь идет о таком метафизическом поэте, как И.А. Бродский, то «мнение» следует искать в метафизических же текстах. Поиски могут занять немалое время и привести к успеху случайно. В данном случае мне потребовалось встретить цитату из диалога Платона «Апология Сократа» в книге Льва Шестова «Афины и Иерусалим»: «Сократ учил, что знание и добродетель есть одно и то же, или в других только словах формулировал эту мысль: с добрым человеком не может приключиться ничего дурного, с дурным ничего хорошего» [15, т. 1, с. 413].

В своей третьей речи Сократ обращается к афинянам, уже вынесшим ему обвинительный приговор, с неожиданным утешением: «Но и вам, мои судьи, не следует ожидать ничего плохого от смерти, и уж если что принимать за верное, то это то, что с человеком хорошим не бывает ничего плохого ни при жизни, ни после смерти и что боги не перестают заботиться о его

делах» (Plat. Apol. 41c–d)[1]. И.А. Бродский выворачивает слова Сократа наизнанку: не с *хорошим*, а с *дурным* человеком ничего *дурного* не произойдет. Ведь если допустить, что с хорошим человеком случается только хорошее, а с дурным — дурное, то получится *тавтология*, т. е. «говорение того же самого». Что хотел сказать поэт? Зачем понадобился ему знаменитый диалог Платона? В чем смысл парадокса? В поисках ответа обратимся к «Нобелевской лекции», произнесенной И.А. Бродским в Стокгольме в декабре 1987 г. Лейтмотив лекции — защита индивидуального существования, «необщего выражения лица», от тавтологии, которую навязывают человеку государство и общество.

> Независимо от того, является человек писателем или читателем, задача его состоит в том, чтобы прожить свою собственную, а не навязанную или предписанную извне, даже самым благородным образом выглядящую жизнь. Ибо она у каждого из нас только одна, и мы хорошо знаем, чем все это кончается. Было бы досадно израсходовать этот единственный шанс на повторение чужой внешности, чужого опыта, на тавтологию — тем более обидно, что глашатаи исторической необходимости, по чьему наущению человек на тавтологию эту готов согласиться, в гроб с ним вместе не лягут и спасибо не скажут [10, с. 243].

Тавтология для И.А. Бродского — «повторение чужой внешности, чужого опыта», в конечном счете — повторение пройденного, исторический тупик. Государство и общество загоняют личность в прошлое, в толпу. Напротив, литература обращена к будущему, причем к такому, которое не навязано «исторической необходимостью», машинальной «причинностью», неизбежным «прогрессом», жертвой которого становится личность.

> Одна из заслуг литературы и состоит в том, что она помогает человеку уточнить время его существования, отличить себя в толпе как предшественников, так и себе подобных, избежать тавтологии, то есть участи, известной иначе под почетным названием «жертвы истории». Искусство вообще и литература в частности тем и замечательно, тем и отличается от жизни, что

1 Пер. М.С. Соловьева: [14, т. 1, с. 114].

> всегда бежит повторения. В обыденной жизни вы можете рассказать один и тот же анекдот трижды и трижды, вызвав смех, оказаться душою общества. В искусстве подобная форма поведения именуется «клише». Искусство есть орудие безоткатное, и развитие его определяется не индивидуальностью художника, но динамикой и логикой самого материала, предыдущей историей средств, требующих найти (или подсказывающих) всякий раз качественно новое эстетическое решение... Вот почему оно часто оказывается «впереди прогресса», впереди истории, основным инструментом которой является — не уточнить ли нам Маркса? — именно клише [10, с. 244–245].

Будучи стилистической ошибкой, тавтология ведет к моральному падению, к деградации. Стиль неразрывно связан с моралью и, более того, определяет мораль. Эстетика предшествует этике.

> Всякая новая эстетическая реальность уточняет для человека реальность этическую. Ибо эстетика — мать этики; понятие «хорошо» и «плохо» — понятия прежде всего эстетические, предваряющие категории «добра» и «зла». В этике не «все позволено» потому, что в эстетике не «все позволено», потому что количество цветов в спектре ограничено. Несмышленый младенец, с плачем отвергающий незнакомца или, наоборот, тянущийся к нему, отвергает его или тянется к нему, инстинктивно совершая выбор эстетический, а не нравственный [10, с. 245].

Если пытаться определить «страх тавтологии» с позиций И.А. Бродского, то можно назвать его чувством стыда, коренящимся в эстетике, но перешедшим в этику (поскольку эстетика предшествует этике). Стыд мешает произносить или писать банальности, мыслить с помощью клише, смеяться глупым шуткам. Ирония, парадокс, пародия — способы устыдить, пробудить совесть.

Казалось бы, последний автор, у которого следует искать тавтологию, — это Платон с его моральным пафосом и с гигантским художественным даром. Между тем, как это ни парадоксально, именно речам Сократа в диалогах Платона тавтология свойственна, по крайней мере с точки зрения наиболее известных авторов, писавших о Платоне. В 1986 г. вышел сборник ранних диалогов великого философа. В предисловии к сборнику А.Ф. Ло-

сев указал на «большое число определений» у Сократа, «построенных по принципу тавтологии, или по типу логической ошибки *idem per idem*, когда дается только внешнее, описательное разъяснение термина, основанное на более или менее случайных признаках». Например, «вечное» — то, что существует во все времена, «беспечальность» — способность не впадать в печаль и т. п. [5, с. 43–44]. Еще через год, за несколько месяцев до вручения И.А. Бродскому Нобелевской премии, американский философ Джордж Клоско представил платоновского Сократа проповедником тавтологии. Для Сократа истинно хорошее (*агатон*) по необходимости должно быть полезным. Поскольку многие вещи, которые считаются хорошими, не всегда таковыми являются, они не могут быть признаны хорошими. Только мудрость всегда хороша и полезна. В «Апологии» Сократ многократно утверждает, что с человеком хорошим не бывает ничего плохого ни при жизни, ни после смерти, что дурной человек не может причинить ему вреда. Также в «Критоне» мы слышим, что «жить хорошо» есть то же самое (*таутон*), что «жить счастливо, благородно и справедливо» (Plat. Crit. 48b). «За исключением некоторых мест в диалоге “Горгий” <...> мы получаем нечто, родственное тавтологии», — заключает Д. Клоско [8, p. 254]. И.А. Бродский почти дословно совпадает с Д. Клоско, статья которого могла быть ему доступна. Он строит парадокс на основании тех самых слов Сократа, которые Д. Клоско определил как «нечто родственное тавтологии».

Из рассуждений Сократа следуют политические выводы. Поскольку справедливость хороша сама по себе и присуща богам, то законы должны выводиться логическим путем из понятия добра, а не из нравов, наклонностей и договоренностей людей. Теория общественного договора, которую в «Государстве» представляет ученик Сократа Главкон, решительно отвергается учителем (Plat. Resp. 358e–359b)[2]. А в «Законах», последнем диалоге Платона, некий афинянин, т. е. сам философ, предлагает своим собеседникам «принуждать» поэтов во вновь построенном идеальном городе: «Вы принуждаете поэтов говорить, что хороший человек, будучи рассудительным и справедливым, счастлив и блажен, все равно велик ли он и силен или же мал и слаб и богат ли он или нет» (Plat. Leg. 660d–e)[3]. Поэтов следует либо изгонять (как утверждает Сократ в «Государстве»), либо подвергать

2 См. об этом подробнее в моей статье: [3, с. 94–95].

3 Пер. А.Н. Егунова: [12, т. 3, ч. 2, с. 136].

цензуре (как настаивает афинянин в «Законах»). Платоновская *тавтология*, «говорение того же самого», доводится до мрачного абсурда, против которого, кажется, протестует поэт, изгнанный из «идеального государства» в 1972 г. В таком случае смысл парадокса, с которого я начал эту статью, — протест против диктата априорной «справедливости», неизбежно приводящего к тавтологии. По крайней мере таково первое впечатление, которое может оказаться неверным или неполным.

***

Чтобы понять эту неполноту, необходимо обратиться к мысли И.А. Бродского об отличии искусства вообще и литературы в частности от жизни. Выраженная метафорически, эта мысль звучит так: «Искусство есть орудие безоткатное». Идя по следам этой метафоры, мы находим источник мысли И.А. Бродского — эссе О.Э. Мандельштама «Разговор о Данте». «Разговор» начинается так:

> Поэтическая речь есть скрещенный процесс, и складывается она из двух звучаний: первое из этих звучаний — это слышимое и ощущаемое нами изменение самих орудий поэтической речи, возникающих на ходу в ее порыве; второе звучание есть собственно речь, то есть интонационная и фонетическая работа, выполняемая упомянутыми орудиями. В таком понимании поэзия не является частью природы — хотя бы самой лучшей, отборной — и еще меньше является ее отображением, что привело бы к издевательству над законом тождества, но с потрясающей независимостью водворяется на новом, внепространственном поле действия, не столько рассказывая, сколько разыгрывая природу при помощи орудийных средств, в просторечье именуемых образами [13, с. 644].

«Отображение» или «пересказ» — это и есть собственно тавтология, а «орудийные средства» позволяют избежать «издевательства над законом тождества».

> Поэтическая речь, или мысль, лишь чрезвычайно условно может быть названа звучащей, потому что мы слышим в ней лишь скрещиванье двух линий, из которых одна, взятая сама по себе, абсолютно немая, а

> другая, взятая вне орудийной метаморфозы, лишена всякой значительности и всякого интереса и поддается пересказу, что, на мой взгляд, вернейший признак отсутствия поэзии: ибо там, где обнаружена соизмеримость вещи с пересказом, там простыни не смяты, там поэзия, так сказать, не ночевала. Дант — орудийный мастер поэзии, а не изготовитель образов [13, с. 644].

«Современное кино», с точки зрения О.Э. Мандельштама, оборачивается злейшей пародией на орудийность поэтической речи, потому что кадры движутся в нем без борьбы и только сменяют друг друга. «Внешняя, поясняющая образность несовместима с орудийностью», — утверждает поэт. «Качество поэзии определяется быстротой и решимостью, с которой она внедряет свои исполнительские замыслы-приказы в безорудийную, словарную, чисто количественную природу словообразования». И, наконец, «поэтическая речь есть ковровая ткань, имеющая множество текстильных основ, отличающихся друг от друга только в исполнительской окраске, только в партитуре постоянно изменяющегося приказа орудийной сигнализации» [13, с. 645]. В «Божественной комедии» вещь «ни одну минуту... не остается похожа на себя самое» [13, с. 540]. Развитие образа у великого итальянца О.Э. Мандельштам представляет в виде самолета, который на ходу конструирует и спускает другую машину, которая, будучи поглощена собственным ходом, успевает выпустить третью. «Разумеется, только с большой натяжкой можно назвать развитием эту серию снарядов, конструирующихся на ходу и выпархивающих один из другого во имя сохранения цельности самого движения» [13, с. 664–665]. Иными словами, «поэтическая речь создает свои орудия на ходу и на ходу же их уничтожает» [13, с. 688]. Структура времени у Данте изменена, наполнена анахронизмами, именно потому, что итальянец «слышал обертона времени» [13, с. 694]. «Все машинальное ему чуждо. К каузальной причинности он брезглив: такие пророчества годятся свиньям на подстилку» [13, с. 694–695].

Я прошу прощения у читателя за изобилие цитат. Чтобы понять связь между текстами (а значит, и смысл текстов) приходится ориентироваться не только на смысл, но и на слова. Если «орудийная метафора» (а заодно и заключенная в ней мысль о тавтологии) связывает «Нобелевскую речь» с «Разговором о Данте», то упоминание «Разговора о Данте» как вы-

ражения «страха тавтологии» связывает «Нобелевскую лекцию» со статьей С.С. Аверинцева «Судьба и весть Осипа Мандельштама».

Статья вышла через три года после «Нобелевской лекции». Страх тавтологии, названный здесь глубокой боязнью тавтологии, предстал у С.С. Аверинцева в иной ипостаси — этнорелигиозной. По его собственным словам, С.С. Аверинцев позволил себе «маленькое отступление», «чтобы найти правильный подход к “католической” теме, а заодно к противопоставленным ей темам “русской” и “еврейской”»:

> Мандельштам — редкий по ясности пример, на котором можно рассматривать, как у подлинного поэта один и тот же принцип определяет и то, что по-литературоведчески называется поэтикой, и то, что по-обывательски называется психологией. В основе как литературного, так и внелитературного поведения Мандельштама — глубокая боязнь тавтологии в самом широком смысле слова, боязнь мертвой точки, непродуктивной статики, когда «разряд равен заводу», когда «на сколько заверчено, на столько и раскручивается». Все, что угодно, только не мертвая точка. Теоретически это будет исчерпывающе разъяснено в «Разговоре о Данте», но практически дано уже в ранних стихах [1, с. 31–32].

«Разговор о Данте» оказывается тем перекрестием, где С.С. Аверинцев и И.А. Бродский встречаются, не называя имен друг друга. О.Э. Мандельштам беседует с Данте, И.А. Бродский говорит с О.Э. Мандельштамом, с которым беседует С.С. Аверинцев, вспоминая разговор О.Э. Мандельштама с Данте. И все они обсуждают с разных сторон одну и ту же тему — тавтологию, выражая ее в схожих или идентичных метафорах. У О.Э. Мандельштама, полагает С.С. Аверинцев, боязнь тавтологии — это «не банальный страх перед банальностью, не забота о том, как сделать поновей и удивить, короче, не “остранение” по Шкловскому, а закон мысли и жизни»:

> Мандельштам, будучи евреем, избирает быть русским поэтом — не просто «русскоязычным», а именно русским — не в последнюю очередь потому, что для еврея самоотождествиться в качестве еврея, прикрепить себя к своей национальной идентичности — припахивает тавтологией. <...> Но вот сделан выбор в пользу русской поэзии и «христианской культуры» —

> хорошо, одно противоречие вживлено в ткань жизни, один перпендикуляр восставлен: что дальше? Стать православным — означало бы так называемую ассимиляцию: «выкрест» однозначно отождествит себя в качестве русского — снова опасность тавтологии, на сей раз еще и сомнительной. <...> Искомым был некий универсализм, который так относился бы к национальному русскому православию, как христианский универсализм относится к национальному партикуляризму евреев [1, с. 32].

Этот универсализм, по мысли С.С. Аверинцева, О.Э. Мандельштам нашел у П.Я. Чаадаева, «избравшего католическую идею единства». С.С. Аверинцев повторяет мысль Н.А. Струве: «Мандельштам пожелал “не стать, а быть русским”; а имелся ли для этого “не стать, а быть” более убедительный вариант, чем подражание русскому пути Чаадаева, выведшему его за пределы русского?» [1, с. 33].

В другом месте я пытался показать зависимость И.А. Бродского от С.С. Аверинцева. На мой взгляд, в эссе «Путешествие в Стамбул» поэт почти что цитирует ключевые для С.С. Аверинцева мысли (высказанные в «Поэтике ранневизантийской литературы») об отличии ближневосточного (библейского) мировосприятия от эллинского [4, с. 264–265]. Сравнение «Нобелевской лекции» со статьей «Судьба и весть Осипа Мандельштама» показывает, как мне кажется, зависимость С.С. Аверинцева от И.А. Бродского. Все вместе говорит о диалоге между великим поэтом и замечательным исследователем, вписанном в их эпоху и в традицию русской эссеистики.

***

У нас нет оснований сомневаться в том, что И.А. Бродский читал «Апологию Сократа» и взял оттуда фразу, которую затем вывернул наизнанку. Но можно предположить, что внимание к этой фразе он наследовал от Льва Шестова, своего любимого философа. Повторю цитату, которую я уже приводил выше: «Сократ учил, что знание и добродетель есть одно и то же, или в других только словах формулировал эту мысль: с добрым человеком не может приключиться ничего дурного, с дурным ничего хорошего» [15, т. 1, с. 413]. По мнению русского философа, Сократ, вкусив от древа познания добра и зла, пошел до конца, решив, что только этими плодами будет жив человек.

> Его убеждение, что с хорошим человеком не может приключиться ничего дурного, как и его твердая вера, что знание есть добродетель... скрывало под собой самую жестокую и страшную «истину», какую когда-либо принимала человеческая душа. Когда вышедшие из Сократа школы торжественно заявляли, что добродетельный человек будет блаженствовать даже в фаларийском быке, они только новыми словами выражали то, что составляло пафос сократовской этики [15, т. 1, с. 426].

На этом же «блаженстве» держалась этика Плотина: «Пусть бесчестят наших дочерей, убивают сыновей, разрушают отечество — все это... не мешает мудрецу в его блаженстве» [15, т. 1, с. 426]. С такого рода тавтологией ни Л. Шестов, ни И.А. Бродский мириться не могли. Опыт двадцатого столетия не позволял им равнодушно смотреть на то, как бесчестят дочерей, убивают сыновей, разрушают одно отечество за другим. Оба они слишком дорожили индивидуальным человеческим существованием, чтобы принести его в жертву исторической закономерности или моральной догме, которую утверждали «вышедшие из Сократа школы».

С Л. Шестовым И.А. Бродский познакомился, по собственному признанию, в возрасте двадцати шести — двадцати семи лет. И сразу обнаружил у него многое из своих собственных идей, и прежде всего «идею буквально воспринятого индивидуализма» [11, с. 212]. Если тавтология есть ошибка стиля, не удивительно, что безошибочно индивидуальный стиль Л. Шестова привлек поэта. «Я много читал Шестова, я прочитал почти все, что он написал, потому что меня в первую очередь привлекал стиль его письма... — говорит поэт в интервью Дэвиду Бетеа 1991 г. — Мне кажется, что Шестов был первым, кто указал в России на стиль» [11, с. 546]. «А как же Розанов?» — следует вопрос интервьюера. «Ни в коем случае, — отвечает И.А. Бродский. — У меня к нему мало снисхождения. Розанов — проповедник безответственности» [11, с. 546]. И.А. Бродский не терпит имморализма. Эстетика для него важнее этики, но только потому, что она является основанием этики. Из эстетики рождается «страх тавтологии» — важнейшая для И.А. Бродского моральная категория.

Но было и нечто другое, что привлекло И.А. Бродского к Л. Шестову, — та самая этнорелигиозная общность, которой, по словам С.С. Аверинцева, так опасался О.Э. Мандельштам. Д. Бетеа продолжает спрашивать:

«Как по-вашему, сыграл ли в вашем восприятии Шестова тот факт, что он был евреем?» — «На тот момент никакой. Я и не знал, что Шестов еврей. Я обнаружил это потом, когда уже прочитал несколько его книг и решил заглянуть в предисловие... где он был назван Шварцманом... Меня удивило и сблизило с ним...» [11, с. 547]. В начале шестидесятых И.А. Бродский прочел одновременно «три книги»: «Махабхарату», «Божественную комедию», Ветхий и Новый Завет.

> И понял две вещи... Первое... что метафизические горизонты иудаизма, не говоря уже о христианстве, гораздо уже горизонтов индуизма. Второе — что я должен сделать выбор. И я его сделал — в пользу иудаизма или, скорее, даже христианства. Я понял, что в сравнении с горными вершинами индуизма иудаизм является чем-то вроде сильного воздушного течения в пустыне, у которого нет конца и начала, и что мне предстоит войти в это течение. Что касается христианства, то я воспринял его с лирической точки зрения, поскольку иудаизм говорит «мы», а христианство — «я» [11, с. 549].

Даже свою склонность к парадоксам поэт пытается объяснить своим еврейством: «На вопрос о том, почему евреи такие умные, я всегда говорил: это потому, что у них в генах заложено читать справа налево. А когда ты вырастаешь и оказываешься в обществе, где читают слева направо... И вот каждый раз, когда ты читаешь, ты подсознательно пытаешься вывернуть строку наизнанку и проверить, все ли так верно» [11, с. 567]. Вспомним, как И.А. Бродский вывернул наизнанку фразу Сократа. Еще яснее он говорит это в 1995 г. в беседе с Адамом Михником:

> Мне жаль тебя, но я — еврей. Стопроцентный. Нельзя быть большим евреем, чем я. Отец и мать — никаких сомнений, ни капли примеси. Но я думаю, что я еврей не только поэтому. Я сознаю, что в моих взглядах присутствует некий абсолютизм. Если же взять религиозный аспект, если бы я сам себе формулировал понятие Высшего Существа, то сказал бы, что Бог — это насилие. Ведь именно таков Бог по Старому Завету. Я это ощущаю очень сильно. Именно ощущаю, без каких-либо доказательств [11, с. 713].

И уже совсем неожиданно о Л. Пастернаке: «Ведь он был выкрестом... И это вина Пастернака, что, когда он перешел в христианство, за ним пошла волна таких обращений. Особенно среди еврейской интеллигенции» [11, с. 713]. Сравним это с приведенными выше словами С.С. Аверинцева: «Стать православным — означало бы так называемую ассимиляцию: “выкрест” однозначно отождествит себя в качестве русского — снова опасность тавтологии, на сей раз еще и сомнительной» [1, с. 32]. Этой опасности следует избегать, тем более что само ремесло поэта «в каком-то смысле делает тебя евреем, еврейство становится следствием. Все поэты по большому счету изгои в своем обществе», — говорит И.А. Бродский. Интервьюер отвечает ему словами М.И. Цветаевой «Все поэты — жиды...» [11, с. 566]. Изгнание из СССР для И.А. Бродского «было внутренним следствием, внешние силы просто оперировали с телом, которое казалось им инородным. Как в знаменитой архимедовой ванне. Это такая игра, если учесть, что жизнь строится на клише всегда, а искусство — никогда» [11, с. 589]. Принадлежа искусству, испытывая «страх тавтологии», избегая клише, поэт становится чужеродным телом, и окружающий мир вытесняет его.

Известно, что И.А. Бродский комфортно чувствовал себя в мировой культуре, индифферентно относился к Израилю, почти не писал стихов на еврейскую тему [6, с. 32–36]. Он и сам говорил: «Я очень плохой еврей. Меня в свое время корили в еврейский кругах за то, что я не поддерживаю борьбу евреев за свои права. И за то, что в стихах у меня слишком много евангельских тем. Это, по-моему, полная чушь. С моей стороны тут нет никакого отказа от наследия предков. Я просто хочу дать следствию возможность засвидетельствовать свое нижайшее почтение причине — вот и все» [11, с. 103–104]. За всем этим, очевидно, стоит не «ассимиляторство» (которое было бы формой тавтологии), а страх тавтологии, нежелание определять подобное подобным (*idem per idem*): «Идентичность человека не должна зависеть от внешних критериев» [11, с. 227].

***

«Страх тавтологии» не означает забвения старых текстов. Как раз забвение старого грозит бесконечным повторением тех же самых поступков и фраз. Бродский дважды вспоминает свой разговор с американским поэтом Энтони Хектом. В 1982 г.: «“Иосиф, тебе не кажется, что задача по-

эта — из всего извлекать как можно больше смысла?” Я с ним вполне согласен» [11, с. 112]. И в 1991 г.: «“Не кажется ли вам, Иосиф, что наш труд — это в конечном итоге элементарное желание толковать Библию?” Вот и все. И я с ним согласен. В конечном счете так оно и есть» [11, с. 553]. Платона И.А. Бродский толковал много и часто, например, в стихотворении «Развивая Платона»:

> И когда бы меня схватили в итоге за шпионаж,
> подрывную активность, бродяжничество, менаж-
> а-труа, и толпа бы, беснуясь вокруг, кричала,
> тыча в меня натруженными указательными: «Не наш!»
> — я бы втайне был счастлив, шепча про себя:
> «Смотри, это твой шанс узнать, как выглядит изнутри
> то, на что ты так долго глядел снаружи;
> запоминай же подробности, восклицая “Vive la Patrie!”» [12, т. 2, с. 11].
> «Развивая Платона», 1986

Дэвид Бетеа увидел здесь влияние Джона Донна, корифея английской барочной «метафизической школы». От Д. Донна в стихотворение И.А. Бродского перешла «творческая дисгармония», когда «каждое последующее высказывание, подрезанное едкой иронией, вывернуто наизнанку и должно читаться наоборот, поскольку имеется в виду не идеальный город Платона, а его фотографический негатив, тот самый реальный Ленинград, который преследовал и отверг поэта» [7, p. 91]. Лев Лосев с этой трактовкой не вполне согласился: «В целом верное замечание Бетеа не учитывает лирической, ностальгической ситуации, которая местами, особенно в частях II и III, преобладает над иронической. Именно таким образом автор и “развивает” и психологически усложняет рационалистическую утопию Платона, изложенную в “Государстве”» [12, т. 2, с. 332]. На мой взгляд, И.А. Бродский соединил в стихотворении «Развивая Платона» два диалога — «Государство» и «Апологию Сократа», слив воедино два образа: поэта, изгнанного из идеального города, и Сократа, приговоренного к смерти. За обоими этим персонажами стоит сам И.А. Бродский. Как следствие, он не только полемизирует с Платоном, он еще и вправду «развивает Платона», соглашается с ним, углубляет и продолжает иронию в том самом высказывании, которое пародирует.

Что может быть ироничнее обращения Сократа к афинянам: «Но и вам, мои судьи, не следует ожидать ничего плохого от смерти, и уж если что принимать за верное, то это то, что с человеком хорошим не бывает ничего плохого ни при жизни, ни после смерти и что боги не перестают заботиться о его делах» (Plat. Apol. 41c–d)[4] [14, т. 1, с. 114]. Иными словами, будучи «хорошими людьми», судьи могут спать спокойно. Ирония Сократа разыгрывается перед лицом смерти. И.А. Бродский удваивает ее, сделав тавтологию предметом парадокса: «...дурное не может произойти с дурным человеком, и страх тавтологии — гарантия благополучья» [12, т. 2, с. 137]. И это — также перед лицом смерти, которую «не остановить дверным // замком» [12, т. 2, с. 137].

Интересно, что С.С. Аверинцев отказывает в иронии О.Э. Мандельштаму. О юморе О.Э. Мандельштама он пишет: «...это... не специфическая ирония во вкусе немецких романтиков, и особенно Гейне» [1, с. 17]. «Мандельштам, — добавляет С.С. Аверинцев, — в течение всей своей жизни последовательно игнорировал Гейне... Тривиально рассуждая, можно было бы ожидать, что у Гейне и Мандельштама найдутся сближающие моменты — от еврейской судьбы и еврейской впечатлительности до схожей позиции в литературе... Но этого не произошло» [1, с. 17]. И далее: «Говорят, будто смех убивает; на самом деле убивает совсем иное — серьезность, с которой носитель инициативы поворачивается к старому спиной, чтобы начать, не оглядываясь, новый путь» [1, с. 18]. Если согласиться с С.С. Аверинцевым, то И.А. Бродский предстанет антиподом О.Э. Мандельштама и преемником Г. Гейне. На мой взгляд, это можно объяснить разностью исторической перспективы. Г. Гейне (как и И.А. Бродский) принадлежал эпохе, когда «старое» умирает под звуки бетховенско-шиллеровской «Оды к радости», когда «душа // заботится о новых переменах» [12, т. 1, с. 120] («Воротишься на родину», 1961). Духу *такой* эпохи ирония соответствует. Напротив, на О.Э. Мандельштама «старое» надвигается из будущего, «время мчится обратно с шумом и свистом, как прегражденный поток» [13, с. 507]. В такой ситуации остается «мужаться» и «помнить и в летейской стуже, // Что десяти небес нам стоила земля» [13, с. 73] («Скрябин и христианство», 1915; «Сумерки свободы», 1918). Тут уже не до иронии. Возможно, поэтому

4 Пер. М.С. Соловьева: [14, т. 1, с. 114].

для О.Э. Мандельштама Сократ и Платон не представляют особого интереса; разве что в его юношеских стихах «встречает пьяного Сократа // суровая жена» [13, с. 39] («Старик», 1913, 1937). Для И.А. Бродского же афинский мудрец — важнейшая литературная фигура, носитель «сократической иронии», которая служит поэту «безоткатным орудием» в успешной битве с тавтологией.

Как пример выворачивания тавтологии наизнанку французский философ Клеман Россе привел куплеты на смерть маршала Ла Палиса, погибшего в битве при Павии в 1524 г. Если бы маршал не умер при Павии, он остался бы жив; погибни маршал в субботу, а не в пятницу, прожил бы на день дольше! Результатом такого рода рассуждений оказывается трюизм, который и подвергается осмеянию [9, p. 20–23][5]. К. Россе раскрывает «секрет» тавтологии, называя ее «демоном идентичности» в смысле волшебства или магического круга. Любое высказывание она сводит к повторению того же самого [9, p. 48]. Развивая метафору К. Россе, можно сказать, что страх тавтологии — это стремление разорвать магический круг, расколдовать действительность, загнать демона в ловушку парадокса, где он покажется смешным и нестрашным.

Список литературы

Исследования

1 *Аверинцев С.С.* Судьба и весть Осипа Мандельштама // *Мандельштам О.Э.* Сочинения: в 2 т. М.: Худож. лит., 1990. Т. 1. С. 5–64.

2 *Душенко К.В.* «За четверть часа до смерти он был еще живой»: литературный образ Ла Палиса и феномен «бестолкового стиля» // Studia Litterarum. 2021. Т. 6, № 3. С. 72–95. DOI: 10.22455/2500-4247-2021-6-3-72-95

3 *Ковельман А.Б.* Вокруг Пушкина: Дух, Закон и Свобода в дискуссии 1990-х гг. // Вопросы философии. 2020. № 4. С. 92–104. DOI: 10.21146/0042-8744-2020-4-92-104

4 *Ковельман А.Б.* Возвышенное и прекрасное в венецианском эссе Иосифа Бродского // Новое литературное обозрение. 2021. № 169 (3). С. 256–272.

5 *Лосев А.Ф.* Ранний Платон // *Платон.* Диалоги / пер. с др.-греч. С.Я. Шейнман-Топштейн; сост., вступ. ст., общ. ред. А.Ф. Лосева; примеч. А.А. Тахо-Годи. М.: Мысль, 1986. С. 3–64.

6 *Лосев Л.В.* Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. М: Молодая гвардия, 2006. 447 с.

5 О *лапалисаде*, или «бестолковом стиле», см. недавнюю статью К.В. Душенко: [2].

7 *Bethea D.M.* Joseph Brodsky and the Creation of Exile. Princeton, Ney Jersey: Princeton University Press, 1994. 340 p.
8 *Klosko G.* Socrates on Goods and Happiness // History of Philosophy Quarterly. 1987. Vol. 4, № 3. Plato and Aristotle Issue (Jul. 1987). P. 251–264.
9 *Rosset C.* Le démon de la tautologie. Paris: Minuit, 1997. 96 p.

Источники

10 *Бродский И.А.* Поклониться тени: Эссе. СПб.: Азбука-классика, 2006. 314 с.
11 *Бродский И.А.* Книга интервью. М.: Захаров, 2008. 784 с.
12 *Бродский И.А* Стихотворения и поэмы: в 2 т. / вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. Л. Лосева. СПб.: Изд-во Пушкинского дома, Изд-во «Нова Вита», 2011.
13 *Мандельштам О.Э.* Стихотворения. Проза. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2001. 896 с.
14 *Платон.* Сочинения: в 4 т. / под ред. А.Ф. Лосева и В.Ф. Асмуса. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2007.
15 *Шестов Л.И.* Сочинения: в 2 т. / под ред. А.В. Ахутина. М.: Наука, 1993.

References

1 Averintsev, S.S. "Sud'ba i vest' Osipa Mandel'shtama" ["The Destiny and Message of Osip Mandelstam"]. Mandel'shtam, O. *Sochineniia: v 2 t.* [*Works: in 2 vols.*]. Moscow, Khudozhestvenaia literatura Publ, 1990, pp. 5–64. (In Russ.)

2 Dushenko, K.V. "'Za chetvert' chasa do smerti on byl eshche zhivoi': literaturnyi obraz La Palisa i fenomen 'bestolkovogo stilia'." ["'A Quarter of an Hour before his Death, He was Still Alive': the Literary Character of La Palice and the Phenomenon of 'Nizy Style'."]. *Studia Litterarum*, vol. 6, no. 3, 2021, pp. 72–95. DOI: 10.22455/2500-4247-2021-6-3-72-95 (In Russ.)

3 Kovelman, A.B. "Vokrug Pushkina: Dukh, Zakon i Svoboda v diskussii 1990-kh gg." ["Around Pushkin: Spirit, Law, and Liberty in the Debates of the Ninetieth"]. *Voprosy Filosofii*, no. 4, 2020, pp. 92–104. DOI: 10.21146/0042-8744-2020-4-92-104 (In Russ.)

4 Kovelman, A.B. "Vozvyshennoe i prekrasnoe v venetsianskom esse Iosifa Brodskogo" ["The Sublime and the Beautiful in Joseph Brodsky's Venice Essay"]. *Novoe literaturnoe obozrenie*, no. 169 (3), 2021, pp. 256–272. (In Russ.)

5 Losev, A.F. "Rannii Platon" ["Early Plato"]. Plato. *Dialogi* [*Dialogues*]. Moscow, Mysl' Publ., 1986, pp. 3–64. (In Russ.)

6 Losev, L.V. *Iosif Brodskii: Opyt literaturnoi biografii* [*Joseph Brodsky: A Literary Life*]. Moscow, Molodaia gvardiia Publ., 2006. 447 p. (In Russ.)

7 Bethea, David M. *Joseph Brodsky and the Creation of Exile*. Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1994. 340 p. (In English)

8 Klosko, George. "Socrates on Goods and Happiness." *History of Philosophy Quarterly,* vol. 4, no. 3, 1987, pp. 251–264. (In English)

9 Rosset, C. *Le démon de la tautologie*. Paris, Minuit, 1997. 96 p. (In French)